

75 лет со дня рождения живописца В.И. Лапина



С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Николай Рубцов

...Утихли, притаились в ожидании снега сжатые нивы; и лишь березовые, осиновые перелески среди полей да пойменный ивняк догорали в ярое осеннем цвету, разметав рыжие гривы среди небесной синевы. Угасало бабье лето; и в предночных серых сумерках обреченно и покорно вздыхали леса, а ясным полуднем печально кружились багровые, желтые листья, укрывая пестрым покровом белесые травы и хожалые тропы. И сквозило меж деревьями пронзительно синее небо, и, обнажаясь, сиротливо и бесприютно темнели щербатые тыны и частоколы, деревенские избы, замшелые амбары и вросшие в землю, трухлявые стайки. А в холодном и высоком небе, печально голося, летели клином дикие гуси; и в расслабленную память невольно наплывала грустными волнами далёкая-далёкая песнь, похожая на тихий, светлый, не надсадный плач... А вот и крутые суметы вдоль деревенских заборов и чернеющих берёз, и серые тени на белом снегу, и копны сена, укрытые снежными шалами; а вот уже и отзвенели крещенские морозы, отголосили февральские метели, согрело землю мартовское тепло, засинели апрельские проталины, слышен робкий клекот вытаявшего ручья и берёзовый перелесок в сиреновом мареве; а вот уж теплые майские дожди омыли звонкую листву, прибили пыль, а там и дохнуло небо июньским белым зноем, легли густые тени от берез и сосен на заросшем травой, забытом проселке... Вспоминаю живописные холсты Владимира Лапина — наплывают видения...

По-деревенски приметливо чуял художник и воплощал в цвете исподволь перетекающие друг в друга времена года: «Начало весны», «Дыхание весны» — снега укрывают сиротливую избушку, тихую ограду, но сугробы уже теплые, влажные, искристые, и в голубом небе, в голубоватых тенях от избушки, от щербатого тына — вешнее дыхание. А уж в картине «Весенняя стихия» — весна бушует апрельским вольным ветром, звенит ручьями, смывающими снежные островки. А время дня — природные перемены от погоды ясной до ненастной, — запечатленные в согласии с небесным светом: осиянный зноем полдень («Солнечный день», «На Заречной улице»), когда сельские жители и приусадебная живность прячутся в тени, сменяет задумчиво-грустный вечер (*серия зимних и летних пейзажей*), и благо, коль в синеватых сумерках посвечивают теплые избяные огоньки, столь отрадные усталой русской душе. Отрада и грусть в русском огоньке, похожем на светящийся и манящий издалика крест сельской церквушки, взбежавшей на холм, словно встречу тебе, когда ты, блудный сын, бредешь к отеческим могилкам. Живописец пишет пейзажи не ради чарующих видов: любая пейзажная картина — душа человеческая, где поле брани света и тьмы; во всякой картине — душа художника, любящая и скорбящая.

Вспоминаю живописные холсты Владимира Лапина — наплывают видения, слышу печальную деревенскую песнь, а потом... сиротливый голос одинокого крестьянского поэта:

Тихая моя родина, / Ивы, река, соловьи... / Мать моя здесь похоронена / В детские годы мои... / Тина теперь и болотина / Там, где купаться любил... / Тихая моя родина, / Я ничего не забыл!... / Школа моя деревянная!.. / Время придет уезжать / Речка за мною туманная / Будет бежать и бежать. (Николай Рубцов).

Но Владимир Лапин — художник по-русски широк душой, любивший дольную жизнь, по-отрочески восторженно, по-юношески нежно, по-мужичьи азартно, в молодые лета не гадающий про горную жизнь; отчего скорбь осеннего погоста переливалась в сверкающее, снежное ликование марта... в белесый июльский зной... в томную лень погожего августа... в легкую, словно сизая дымка, светлую грусть предзимья... Так и в жанровых картинах: старый конюх, глядящий в маревную даль долгих лет жизни, а рядом — парнишки, девчонки купаются в реке, серебристо сверкающей в полуденном солнце; деревенская старуха, выглядывающая в заокольной зимней мгле то ли смертушку, то ли сынов, убиенных на поле кровавой брани, а рядом — парится в жаркой бане деревенская баба, ядреная, чадородливая, словно плодородная мать сыра земля.

Ликование жизни и трагедия жизни... Помню картину «Байкальские чайки»: хмурое, студёное море, уходящее в огузлое небо, и чайки, чайки!.. чайки!.. чайки мечутся над сумеречной водой. Тяжко на душе... Потому «Байкальские чайки» и породили у ценителей живописи сложные, а порой и неприязненные впечатления. «Всем не угодишь, — Владимир пожимал плечами. — У меня и в помыслах не было писать *такую* картину, но *всё* случилось словно и не по моей воле... Я писал этюд на Байкале, и вдруг в нескольких шагах от меня села на камни чайка, и долго-долго не улетала. И не мигая смотрела на меня, словно что-то хотела поведать. И в душе вдруг народилось стылое чувство, что с моим близким и родным человеком что-то случилось... Так оно и вышло — я потерял любимую. И я написал это душевное смятение, предчувствие...»

Помнится, студентка-журналистка потешно запечатлела художника: «Владимир Лапин — бородатый, высокий и красивый, каким и должен быть истинный художник...» По поводу роста невольно приврала восторженная студентка, но что красивый мужественно красотой — верно, отчего, к прискорбию, поклонницы не давали ему покоя.

* * *

Вначале девяностых годов минувшего века поселился Владимир Лапин в Иркутске, и близкие ему по духу мастера традиционной русской живописи — Владимир Тетенькин, Анатолий Костовский, Владимир Кузьмин — благословили певучее искусство Владимира Лапина, приняли художника в живописное братство. И для старинного губернского города, испокон веку ведающего цену искусству и ремеслу, где и ныне не перевелись художественные таланты и дарования, творчество пришлого художника Владимира Лапина — стало явлением, и не столь живописным даром, сколь *русской народностью*, такой редкой в нынешнем российском искусстве, утонувшем в омуте безпамятства и окаянства.

Старые западники толковали: *русскость*, *народность* в искусстве, — не идиллическое воспевание лаптей и сарафанов, но правдивая картина страданий русского народа, угнетённого барами-боярами и кулаками-мироедами; славнофилы соглашались, хотя и прибавляли: страдание страданием, но и воспетые «сарафаны да лапти» не помеха *русской народности* в искусстве... Но превыше того народно-православные обычаи, обряды, оберегающие в народе любовь Христа ради. Храм в стихе, повести, картине — и памятник зодчества, и живописный образ, но, прежде, — обитель Божия, где в очистительном страдании, в покаянной молитве спасается грешная душа на пороге Вечности; деревенские избы, старгородские ветхие усадьбы — и милый сердцу живописный вид, но, перво-наперво, русская судьба, величавая и печальная, о которой художник мог бы воскликнуть: «Люблю до слёз!.. до вечного покоя!..» Славянофилы и оценивали произведения искусства по степени *русскости*, где обретаются и ладом уживаются православная духовность, самодержавная государственность, крестьянская народность.

* * *

В очерке о литературе писал, а нынче повторю... В семидесятые, потом и восьмидесятые — вначале по-деревенски робко и стеснительно, потом во всю отчаянно-печальную удаль — явилась в русском искусстве «деревенская» проза — суть, народная: Шукшин, Абрамов, Носов, Белов, Астафьев, Распутин, Личутин... В отличие от русскоязычной — не чующей ни духа, ни слова народного, не жалеющей ради хлесткого словца ни мать, ни отца, — крестьянская проза, зазвучав по всей России-матушке, словно вечевым набатом, отозвалась во всякой живой русской душе. Деревня приманивала, волновала, радовала и кручинила наших писателей, как островок, где еще теплилась *русскость*, где еще дивом дивным, чудом чудным выжила совесть — предтеча покаянной любви к Всевышнему, — где народ еще помнил тысячелетнее величавое сказовое, песенное слово, ещё не выронил из рук самобытное художественное ремесло. А если иной и не владел словом, не привадился к искусному ремеслу, то просто жил художником в душе, чующим народную, природную красу. Дух совести и красоты «деревенская» проза и запечатлела. А живопись?..

Процветала ли «деревенская» живопись, не ведаю — вспоминается лишь знаменитый Пластов; нет, очевидно, жила о ту пору «деревенская» живопись стареющих мастеров, в иных полотнах достойная «деревенской прозы», но жила тихо и не прозвучала в полный голос и не дошла до воспетого сельского жителя; а посему дивно, что Владимир Лапин, художник молодой, не астафьевского и даже не распутинского поколения, продолжил в изобразительном искусстве «деревенскую» прозу, кою любил читать и перечитывать. Художник хвалился в беседе: «Часто перечитывал Шукшина. А потом мне посчастливилось жить летами на Алтае. Есть там село Воеводское, неподалеку от шукшинских Сросток, там у меня и по сей день своя изба. И вот когда я жил и писал на Алтае, на каждом шагу встречал шукшинских героев. Куда бы ни пошёл — в магазин, в сельсовет, в правление колхоза — везде видел Шукшина. Это меня настолько поразило, что когда писал алтайских мужиков, было такое ощущение, что Василий Макарович у меня за спиной стоит и советует... Заканчиваю большую картину, где у меня Василий Макарыч в своём родном селе, в родном подворье рядом с матерью и домочадцами». Помянутая картина ныне в музее Василия Шукшина, в его родном селе Сростки.

Иные художники из простолюдья далеко от народа убрели в мир творческой богемы и забыли, чем пахнет мужичье рубище, но Владимир Лапин не вышел из народа; бился, колотился, а так в народе и осел — судьбой, творчеством и духом. (Недаром летовал, а случалось и зимовал то в алтайском селе, то в байкальском поселке.) Бродила в салонной богеме лицейская байка: вышел из народа Ваня-живописец, выпил, хрясь мордой в грязь и, освистанный, убрёл в народ. Помню, задубелый второгодник, с коим мы ёрзали на школьной парте, словно в штаны набили жгучей крапивы, под зорким учительским оком вымучивал некрасовский стих, зыряка то в потолок, надеясь там высмотреть забытые строки, то косясь в окошко, где влекуще голубели в оттепельном куржаке школьные ёлочки. «Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел... и снова зашел...» Укоротил парнишонка стих, ибо лишь строку и выучил: «Я из лесу вышел...», но ловко, оголец, завершил: «И снова зашел...». Вот и художники-простонародцы однажды в студёную, або жаркую пору шатнулись из народа да, никуда вне народа не притулившись, обратно зашли в народ. А и счастье художника: взросши и заматерев в простолудье, в нем и ужиться душой, обличкой, привычкой и песней. И всё, Богом отпущенное народу по совести и попущенное по грехам, выпало истинно, не по званию, русским *народным* художникам: и свет, и сумрак души, и радости и горести, и нужда со стужей, и всё воплотилось в живописных произведениях.

Обращение Владимира Лапина к деревне — не каприз, но возвращение души к отчему подворью, исполнение долга перед деревней, коя худо-бедно вскормила, вспоила, с малолетства одарила красою полей и холмов, берёзовых перелесков и приболоченных низин, мудростью древних изб, простотой и загадкой деревенских характеров, высотой русского неба. Художник вспоминал: «Уже в институте я впервые почувствовал тоску по своей деревне, по своей родне, и эта печаль не проходит и теперь, а с годами всё сильнее и сильнее томит...» И эту печаль — а сельские картины Владимира Лапина чаще печальные — художник с любовью воплотил в живописи.

Деревню с её окрестными полями и лесами, с крестьянским обычаем и обличьем Владимир Лапин видел не столь прищуристым взглядом живописца, ищущего колоритную натуру, сколь глазами коренного сельского жителя. Потому и картины Владимира Лапина — произведения крестьянского художника; не случайно

в вешних пейзажах с пашнями, в летних с хлебобродными нивами, в зимних со стогами сена чувствуется и художник, гадающий о цвете и свете, и сельский житель: рядом с древними избами, косыми пряслами — зароды сена, укрытые снежными шапками, а подле зародов где мужик с вилами, где кони кормятся. Но если даже на картине нет лошадей, стожков и мужиков, нет весёлых деревенских девок и покорно опечаленных послевоенных вдов, нет взирающих в небеса стариков и старух, то и в самих избах, щербатых тынах и частоколах, в заснеженных и по-вешнему чернеющих пашнях, в сенокосных лугах — везде видится деревенский мужик, некогда достаточный, крепкий, безунывный, ныне изветшавший плотью и беспросветно печальный. «Россия, нищая Россия, / Мне избы серые твои, / Твои мне песни ветровые — / Как слёзы первые любви!» (Александр Блок)

* * *

Вершинные произведения художника — детские, отроческие впечатления, поскольку малые да старые, впавшие в детство, поближе к Богу, не истомлены, не искорёжены мирскими грехами и пороками. Недаром Федор Достоевский воскликнул: «Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам». Впрочем, Фёдор Михайлович лишь на книжный лад повторил завет Иисуса Христа: «И рече: аминь глаголю вам, аще не обратитесь и [не] будете яко дети, не увидите в Царство Небесное» (Мф. 18-3).

«Я родился после войны в деревне Сосновка, что вблизи города Старокузнецка (теперь — Новокузнецк), — вспоминал Владимир Лапин. — Деревня наша мало чем отличалась от обычных сибирских деревень: холмы, поросшие березняком, поля, а по ним изъезженные, непролазные по весне дороги, и река Кондома за деревенской околицей. Мама моя — простая русская женщина — всю жизнь работала техничкой, санитаркой в больнице. Она была говорливая, весёлая женщина, любила петь раздольные народные песни. Отец — угрюмый, замкнутый, но справедливый — после войны и лагерного срока трудился грузчиком в сельпо. Меня держал в ежовых рукавицах. К моему отроческому увлечению рисованием относился неодобрительно и не мог вообразить, что рисование может быть профессией... С многочисленной деревенской родней жили мы одной семьёй; тёток, дядек, двоюродных братьев и сестёр я считал родными. Время было потяжелее, чем нынче — сразу после войны — но мы роднились, жили миром, помогали друг другу. Потому и выжили, и души не сожгли во зле и зависти... Я со своими братьями и сёстрами все детство провел за деревенской околицей — в поле, в лесу, — где мы играли в придуманные игры. Хотя и работать пришлось смалу... Семья наша была дружная, работающая. Картошки садили прорву — огород двадцать соток; держали скот: корова, тёлки, бычки, овцы. Мне, маленькому, приходилось и сено косить, и скот кормить, поить, и дрова рубить... Ясно помню все, что было со мной после трёх лет... Я ещё не успел родиться, когда отца, фронтовика, по ложному доносу посадили в лагерь. Дали пять лет... А тут и я родился. И осталась мама одна со мною на руках. Но сумела построить землянку, где мы с ней ютились лет пять, пока отец не вернулся из лагеря... Помню, вошёл в землянку, взял меня на руки, хотел подбросить, да чуть мне голову не зашиб об потолок. И эта землянка врезалась в мою память навечно; она была и горе, и спасенье наше. Давно пишу большую картину: мать в полутёмной, горестной землянке держит парнишонку

на руках... Отец, конечно, не стал жить в землянке, и забрал нас к своим родителям. А позже мы с ним начали рубить новую избу. Мне тогда исполнилось лет десять, и я чем мог помогал отцу — парнишка я уродился крепкий, на здоровье не жаловался... Но когда мы жили у отцовых родителей, я рос подле деда Михаила Никаноровича. Дед Миша брал меня и в лес, и в поле, и на пасеку, и без красивых слов, исподволь внушил мне, мальчишке, любовь к лесам и полям. Смерть деда была потрясением для меня, как потеря самого близкого и любимого человека... (Образ Михаила Никаноровича — в картине «Конный двор»: умудрённый и просветлённый старик среди хомутов и сбруй, а во дворе держит лошадь под уздцы деревенский парнишка, — не внук ли, не будущий ли крестьянский художник?) А спустя годы случилось другое горе: погибли отец с матерью. Загорелся на веранде газовый баллон; отец, мужик отчаянный, фронтовик, решил вынести баллон в ограду, но не успел; баллон взорвался в руках, и отец погиб, словно через сорок лет подорвался на mine. Мать кинулась на веранду, а навстречу ей огненный смерч... Мы похоронили их в одной могиле... Давно я покинул родную деревню, но приезжаю, иду на тихое деревенское кладбище, к могиле отца и матери...»

* * *

«Рисовал ли в детстве?... — переспросил Владимир. — В раннем детстве я даже и не знал, что есть художники, краски, картины, — в глухой деревне рос. Краски акварельные впервые увидел лет в десять. Прихожу как-то к своему братану — он постарше меня лет на семь — а тот пишет акварелью на большом листе букет цветов. И пишет с открытки и по клеткам. Я обомлел — художник... А как увидел сами краски, да яркие цветы на бумаге, так и покой потерял. Стал умолять, чтобы дал покрасить. Братан вначале отгонял меня, но я назойливо лез и лез к нему. То ли надоел, то ли уж братан сжалился, но дал мне маленько покрасить. А потом и вовсе отдал — и краски, и кисточку. Его в армию забрали... И я стал рисовать, сперва с открыток, по клеткам, но уже не цветы, а природные виды, портреты. И все же мне, деревенскому парнишке, крепко повезло: кроме того, что все детство перед моими глазами были живописные поля и леса, речка, был у нас еще и учитель географии, фронтовик Иван Георгиевич Русяев. Он же вел и рисование. Иван Георгиевич открыл и кружок живописи, где мы уже масляными красками срисовывали репродукции художников — обычно Шишкина, Айвазовского, Перова, Репина. И я так увлекся этим копированием, что директор школы заказал мне большую копию с картины Шишкина «Утро в сосновом бору». Копию потом повесили в школьном актовом зале. Для меня это как первая выставка. Я гордился по-мальчишечьи. В старших классах я уже так разошелся, что писал ковры — клеенки с лебедями и сестрицей Аленушкой у омута. В ту пору их развешивали над кроватями. Эти рисованные клеенки я увозил в город на продажу — нужда прижимала. Часть вырученных денег отдавал матери, а часть оставлял себе на кисти и краски.

...Потом Нижне-Тагильский институт, художественно-графический факультет. И там мне повезло с учителями — мои педагоги Зудов, Ушаков, Егидес, Крашенинников были и хорошими художниками. И приучили нас, студентов, любить живопись больше всего на свете. Уже в институте я впервые почувствовал тоску по своей деревне, по своей родне, и эта печаль не проходит и теперь, а с годами все сильнее и сильнее томит...»

«После института уехал в Томск. Преподавал лет пять в художественной школе, потом какое-то время занимался монументальной живописью в художественном фонде. Увлекался и графикой. Но больше живописью занимался. В живописи испытал влияние импрессионизма, постимпрессионизма, кубизма, абстракционизма, позднее — суровый стиль, декоративизм. Но перед появлением фото- и гиперреализма остановился и задумался... Вдруг стало щемить душу печалью по нашей русской деревне, по той реалистической школе, которую получил в институте, вспомнил Аркадия Пластова, Владимира Стожарова. И тогда понял: мое детство и юность в деревне, русская живопись с ее народными традициями — это мое родное... Я убедился, что реалистическая школа наиболее полно раскрывает души и творческие тайники каждого художника; а коль рождаемся и вырастаем мы все разные, то и картины, конечно, выходят у всех разные. Формальные течения, модернистские, загоняют художника в узкие, как гроб, рамки в стилевом и идейном смысле, а реализм безграничен, и все формальные достижения искусства может использовать в своем стиле».

Толковал я в очерке «Избранные» о художниках, блуждающих в поисках неповторимой живописной манеры: «Отроки и юноши, смалу умудренные отцами и дедами, учатся на чужих ошибках; дураки — на своих; так и русские по духу, даровитые художники, не вняв бедам ушедших поколений, перехворали младенческой ветрянкой формотворчества, блуждая, словно во тьме крошечной, в гиперреализме, абстракционизме, сюрреализме и всяком ином модернизме, вольно ли, невольно замахиваясь на Всевышнего: глумливо разрушая кистью природу — творение Божие, и человека — подобие Божие, сознательно или бессознательно живописуя грех, и яко бесы, искушая грехом ближних, увлекая души в преисподние потемки, где огонь, сера и зубовой скрежет. Слава Богу, избранные русской памятью, хлебнув наркотической отравы, тут же очнулись, и явились блудными сынами к отеческому очагу, и покаянно вспомнили о Боге... И осознали душой, где угнезвился дух Божий, что живописец, не плетясь понуро за натурой, может образно и символично отображать мир человека и мир природы, но грех великий рушить божественные миры. Отряхнув «ветхие лохмотья» формотворческого модернизма, избранные художники воплощали свое мировидение и мироощущение в традициях древнего и вечно юного реализма, от «формотворчества» обретя лишь некие формальные достижения, обратив их в композиционные и живописные приемы». Таков был и путь художника Лапина.

Тяжко ныне художнику традиционной русской школы, коль чужеродство и окаянство властвует в России и российском искусстве, коль холят и нежат слуги падшего ангела мертвотушный абстракционизм — исчадь ада, дуращий нашего брата-простака и тешащий извращенца. А и реалисты сплошь и рядом сыты бывают тем, что околом, что видят лишь внешним оком, что вплетено в их житейскую судьбу, и, правда, не лицемеря, не фальшивя, рукодельничают либо ярко и красиво, либо тускло и тоскливо, не смея подняться пыльным духом над своей судьбой до судьбы народной, до светлой радости ее и горя чёрного.

Владимиру Лапину повезло уже в начале творческого пути: в восемьдесят первом году поехал в Дом творчества «Академическая дача имени Ильи Репина», куда потом ежегодно ездил восемь лет, где о ту пору собирался цвет русской реалистической живописи: Бубнов, Токарев, Баркалов, Сошников, Федосов, Кугач, братья Ткачевы, Сидоров, Белых. Не случайно шутники дразнили «Акаде-

мическую дачу» — осиное гнездо реализма. Но будучи реалистами, помянутые художники были предельно самобытны, не похожи друг на друга по стилю и психологии. Восемь лет Владимир Лапин по два месяца писал этюды рядом с талантливыми мастерами, обретая в душе и творчестве то, что почти потерял — родину. Полюбил художник живопись Сурикова, Серова, Саврасова, Левитана, Шишкина, Крамского, Репина, Коровина, Нестерова, которые, как в старину говаривали, *пошли* в народ, и, откачнувшись от аристократического классицизма Российской Академии Художеств, создали товарищество русских художников. В жанровых картинах явилась простонародная жизнь с ее обычаями и обрядами, с ее горестями и радостями, а в пейзажах — русская природа. Изображая крестьян, ремесленников, купцов, приходских попов, «товарищи» не чернили их в угоду бесу и не приукрашивали в манере лубочных «клеёнок», но создавали правдивые русские характеры. Художники «товарищества» были великие колористы, а это, как стилистика в художественной прозе: богатый образом язык, в котором светятся и формальные достижения языктворчества, и великое устное народное творчество, воплощенное в эпосе, в песнях и плачах, пословицах и поговорках, и даже в живой и щедрой былой крестьянской речи. Избранные картины «товарищества» более чем гениальны, они — *русские*, и лишь потому — всемирные.

* * *

Хотя Владимира Лапина можно отнести к поколению второй половины минувшего века — поколению смуты и прозрения, — но и летами... он явился в мир на победных радостях... и *русской народностью* творчества художник мог быть причислен к поколению, чье детство и отрочество опалила война. Живопись Лапина, к слову сказать, увязала воедино дух и чаянья не только двух послевоенных поколений, но и фронтового.

Война вошла в душу художника, когда вернулся отец: вошел фронтовик в землянку, где ютились Лапины, подхватил малого, хотел подбросил на руках, да мать не дала — потолок низко. Война навек запечатлелась в детской и отроческой памяти, когда от нужи и стужи, от одиночества плакали посреди ночи горькие вдовы, виновато глядя на спящих ребят, когда матери, помолясь, выглядывали в заснеженных полях сыновей, что не вернулись с фронта, когда фронтовики хоронили своего израненного, искалеченного друга.

Помню картину «*Фронтовики пятидесятих годов*», где художник запечатлел отца среди солдат второй мировой, что собрались у могилы фронтового друга. А за могильным бугорком — заснеженные и скорбные деревенские поля и чернеющие перелески. Лет пять художник доводил картину до ума и духа, чтобы на погосте стояли не просто *какие-то* мужики, а чтобы каждый мужик — характер. И были то земляки Владимира Лапина, сосновские фронтовики, всякий с неповторимым нравом и сокровенной судьбой, глубокими морщинами прописанной в усталых лицах, в изработанных руках. В горный свет уходило фронтовое поколение — неуютное, режущее в пустые чиновные глаза правду-матку, совестливое, непостижимо выносливое.

Так рождались картины Владимира Лапина — родовая память о войне.

«*Русское горе*»... Деревенская старуха — в черной шали и кургузом пальто — замерла у косога обредевшего тына в протяжной, печальной думе; бледное, иссохшее лицо — словно плоть ее уже слилась с заснеженным полем, а дух веет к

сероватому зимнему небу, набухшему снегом. Бог весть, ждет ли старая не вернувшихся с войны, прощается ли с полями закольными да смертушку вымаливает и прощение грехов, вольных и невольных. Слышится голос старухи: «Ох, сына, сколь мы в войну пережили, одна душа знат, да и та затаила...»

«Я писал «Русское горе» по впечатлениям детства, — вспоминал Владимир Лапин. — Тут моя бабушка... Было мне лет восемь, когда умер мой дед Михаил Никанорович. Я впервые встретился со смертью... И так я любил своего деда, что для меня словно солнышко погасло... Вижу как сейчас: морозный день, бледные снега в дымке, темные и печальные избы, и моего деда несут на кладбище... Вижу снова: бабушка стоит у гроба возле тына... Я постоянно ездил в родную деревню Сосновку, писал этюды, а из этюдов родилась и картина. Там окраина деревни, наш тын, огород, за огородом речка Кондома, а дальше лес и горы... Но в картине это уже не просто моя бабушка — образ русского горя, а беды наш народ, переживший и гражданскую и отечественную войну, столь хлебнул, сколь другим народам не снилось и в страшных снах».

Видел я другие созвучные картины Владимира Лапина: деревенские старики и старухи, фронтовики, что вернулись к родным пепелищам... И «знал я по зачитанным до дыр жалостливым книжкам и поминаниям родни, сколь они, довоенного рождения, пережили, и, думаю, не сыскать в мире народа, какой бы столь пролил крови своей, так перемучился, переломался за полвека, а посему иногда прикинешь: да как же было русскому народу не загулять, чтоб хоть в вине, в печальной песне, похожей на плач, утопить мучительную память о пережитом, о своем бессилии перед злой недолей, перед бесовской чуждой волей, чтобы хоть во хмелю занять некие права, хоть в пьяном кураже заявить поправное достоинство и... на своем же ближнем и выместить все обиды за узаконенные оскорбления, унижения. Добра в том, конечно, мало, разве что понять можно, пожалеть можно... Но ведь народ и не ударился во все тяжкие, не озлобился, не изжил из души божественный свет любви к брату и сестре во Христе... А подвиг и был, перво-наперво, в том, чтобы пройти через все страдания, и остаться человеком, имеющим подобие Божие.

А уж столь народу в середине прошлого века осиротело по России, словно и сама Россия вдруг осиротела... И если бы не потаенная, осветляющая вера в то, что по слезам и страданиям нашим отпустится счастья в тихой, навечной обители, вряд ли выстоял бы народ в долгие лихолетья, в голоде, холоде, в бесправии, в непосильном труде. Не выжил бы, озлобился, истребил друг друга, утратив из души последнюю, невыразимую в словах и даже чувствах, заветную надежду на Царствие Небесное» (из очерка «Люблю я сторону родную»).

* * *

В последние годы, словно предчувствие ранней кончины, томила его душу печаль по русским солдатам, павшим на полях сражений за други своя во Христе, за святоправославную русскую землю... О ту пору стих барабанный бой в военной прозе, крики «ура» на фоне штабной отчужденности от рядового солдата; уходила в небытие «генеральская» проза, потом «лейтенантская», пришло время горькой «солдатской» прозы — страшной окопной правды, высветившей и подвиги солдат, и всю nepocтижимую меру солдатских страданий: голод, холод, окопная грязь, перемешанная с кровью, страх, мучительные раны, тоскливое ожидание

смерти. И героизм русского солдата в том, что хаос войны, ужасы, кровь, холод и голод не убили в его душе божественную любовь к ближнему, что есть предтеча любви к Вышнему.

Потом была опаленная войной белгородская земля... Два лета приезжал Владимир Лапин в Белгородчину, бродил от зари и до зари по межам вспаханного Прохоровского поля, всякий раз снова и снова видя, переживая страшные видения танковой битвы; писал этюды, изучал материалы, слушал прохоровских старожилов, которые яснее, чем сегодняшнее, помнят дальше — черная, кровавая ночь среди белого дня, горящая земля и сквозь грохот предсмертные стоны. И зрела в душе и воображении картина, но какое же нужно неистраченное сердце, чтобы искренне и сострадательно пережить лишь слышанное, читанное и виденное в документальном кино, а переживая, воплотить в живописи, не унизив переживание и саму великую славу и великую скорбь. Не всякой художнической душе и кисти это посильно... Да и время нынче подлое — глядят убиенные солдаты с небес на сынов непутевых и беспамятных внуков, скорбят: неужли за понюх дьявольского заморского табаку продадут теперь и землю русскую, за кою полегли мы, не дожив, не долюбив?..

Не житом яровым засеяна мать сыра земля на поле Прохоровском, а белыми костями русскими, не дождями полита, — кровью, но великою покрыта неувядающей славой жертвенного русского солдата и скорбью материнской... Все минуло, былшем поросло, и вновь затарахтели вешние трактора, вспахивая ниву хлебородную, вновь заколосилась белгородская пшеница, зазвонили колокола в Прохоровке, влекущие к заутрене, вечерне, детский смех расплескал полуденный зной, выстелилась по-над полем песнь девичья...

Приехал Владимир Лапин из таежной Сибири в белгородскую неоглядную равнину, вышел в поле Прохоровское — белели купола сельской церкви, под ласковым небом глубоко и влажно дышала земля, трактора пахали залежь; оглядел окрестные холмы с березовыми гривами, замершие в небе белые облака, чернеющую пашню, прикрыл глаза... и вдруг послышался вроде и не тракторный гуд, но взревели танки на рассвете и со зловещим лязгом гусениц, тупо и грозно загромыхали встречу друг другу, и вот уже все окрест покрылось мраком. Прохоровское танковое сражение, как поведали художнику сельские старожилы, гремело от рассвета до заката, и солнечный день обратился в черную, громовую ночь с кровавыми, до небес, всплесками огня. Где еще вчера колосилась пшеница, стонала и горела земля от края и до края, и белый свет превратился в ад кромешный...

Открыл художник глаза, увиделось в бушующем мраке, как подкошенные умирают в столах и муках солдаты, пал на сырую пашню и заплакал. Такой нестерпимой болью отозвалось в душе далекое русское горе?.. Так мучительно рождалась картина *«Прохоровское поле»* — произведение предельно сложное и опасное по разнообразной технике на одном холсте, совместившее трудно совместимое: натурная живопись и символический декоративизм с откровенными элементами плаката. Да, и плаката... И нет в том греха: русский плакат — родом из древнерусского искусства (вспомним гравюры, изображающие военные походы князей и первых царей, вспомним плакаты времен Великой Отечественной войны прошлого века, которые по силе и пронзительности чувства, по искусству исполнения не уступали и талантливой живописи, как, помянем, плакатная песня «Вставай, страна огромная» не уступит классическому романсу и народной лирической песне. Конечно, и тяжело, и азартно было Владимиру Лапину сводить в одном холсте,

чтоб не топорились друг против друга, привычный ему поэтический реализм (песнь песней сибирской природе, полевой деревне и сельскому характеру) с непривычным символизмом, восходящим к христианскому мистицизму. И через это слияние сцепить в единую родовую цепь далекие времена, войну и мир, слить души воинов, почивших за други своя, явленных с небес белыми призраками, с душами потомков, ныне живущих.

В центре картины почти плакатное поле танкового сражения: вздымаются зловещим строем тяжелые немецкие «Тигры», им разрозненно противостоят советские танки, но уж один Т-34 пробил тараном самоходную установку «Фердинанд»; а из кроваво-черного месива с криками «За Родину!.. За Сталина!..» пошла в атаку русская пехота... Понимаешь, что германские солдаты осознали на своей шкуре: русский воин, перекрестясь на восток, помолясь и положась на волю Божию, вынесет все, что западному страшно и вообразить, что русская армия утопит немцев в кровавых реках и завалит убиенными, но была германская самоуверенность в своей могучей военной технике, да в прохоровском танковом сражении уверенность германская поколебалась, и, хотя русская победа была за еще горами, война переломилась. Слетела германская самоуверенность, и пожалели умудренные и просветленные, что некая незримая, надмирная злая воля вновь столкнула их с русскими, с коими бы жить душа в душу, в преддверии вечности налаживая праведный порядок на земле.

Поле сражения на картине в теплых объятьях мирной жизни: пашущий трактор, молочная ферма, Прохоровка с белой церковью, но справа... поминальная тризна по сраженным... (В день памяти Прохоровской битвы окрест поля сотни поминальных столов, и всякий может помянуть известных и неизвестных солдат, отдавших здесь жизнь за Россию.) Почти бесплотная, с глазами, угасшими для земной суеты, скорбная старуха поправляет белый плат, будто саван; в другой руке карточка погибшего сына, которому навечно лет восемнадцать, которому так хотелось жить, любить, детей растить... Подле старухи ее молодая дочь, ладонью заслоняющая внучку от ужаса войны и смерти, — старая, зрелая и чадо малое, как образ матери России, вчерашней, нынешней и завтрашней. За столом парнишка, к ногам которого ластится игривая собачонка. Бог весть, может, и малому уготовано пережить то, что пережил деревенский парень на пожелтевшей карточке, и сложить буйну голову на поле брани... А в левом краю живописного холста, опустившись призрачными видениями с белого облака, замершего в небе, светлые души двух воинов — умирающий танкист и пехотинец, который погиб чуть позже. А так не хотелось умирать, так хотелось жить... В картине солдаты, словно обращенные в бел-горюч камень судьбы, что в руке Божией, слились со святой русской березой-берегиней, с облаками, где и витают души воинов, прощенные, упокоенные со святыми в раю, ибо погибли за други своя... Их бесплотные очертания созвучны и образу старухи, коя со дня на день встретит в вечности своего, может быть, не отпетого и неоплаканного сына, похороненного в братской могиле.

Три святых величавых и скорбных поля на Руси: Куликовское, Бородинское, Прохоровское, которое Владимир Лапин набрался мужества и написал. После «Прохоровского поля» писал Владимир Лапин другую большую картину, где Ангел Божий летит на поле битвы, но не окончил произведение, ушел вслед за белгородскими воинами, хотя, увы, по немощи, не за братьев и сестёр во Христе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой со святыми раба Божия Владимира, прости ему прегрешения вольные и невольные...

Художник вспоминал: «Когда я под стол пешком ходил, мои родители и вся деревенская родня в праздники собирались за широким столом. Помню степенные беседы, помню добрые отношения, помню, как мужики и бабы, девки и парни пели под гармонь русские песни; пели все, а словно пел один человек — души сливались в радости и горе. Бывало, запоют протяжную печальную — глядишь, у иных от кручины уже и глаза мокрые. А уж как заиграют плясовую, так уж никто, бывало, не мог усидеть за столом. И вот задумал я написать серию живописных картин по мотивам русских песен...»

Не ради словца красного сказано, картины Владимира Лапина — душевные деревенские песни, и ласково нежные, и обречённо скорбные, петье Владимиром в дружеских застольях. Что греха таить, по молодым летам, случалось, то весело и азартно, то отчаянно и мрачно бражничали мы в мастерской Лапина, куда, случалось, заглядывали и соседи — художники Сергей Коренев, Владимир Десяткин, Царствие им Небесное. Вспоминаю Владимира, сидящего среди картин в линиялой тельняшке, с плачущей гармонью, и в мокрых от слёз глазах боль, тоска, томительное предчувствие...

*...Там вдали у реки засверкали штывки,
В небе ясном заря догорала...
Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои ясные очи...*

Владимир непривычно для слуха переиначивал песню с «красного» на «белый» лад, а может, на царский, времён первой мировой, исконный лад. А уж как заводил любимую, родимую, тут и мы подтягивали:

*Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна,
Не нужен мне берег турецкий,
Чужая земля не нужна*

Тяжело хмелея, не растягивая меха, уже и не пел, надсадно выплакивал коварную житейскую судьбу, чую близкую погибель:

*...Под ракитою зелёной
Русский раненый лежал.
Над ним вился чёрный ворон...*

Выплакав «Чёрного ворона», страдал художник по замерзающему в степи, горемычному ямщику:

*...Степь да степь кругом.
Путь далёк лежит...
В той степи глухой умирал ямщик...*

Умер художник, а мечтал написать серию живописных картин по мотивам русских песен... «Это может быть пейзаж, портрет, жанровая картина, по настрою

созвучные песне, — гадал художник. — Это не сюжетное, а образное развитие темы. Но напишу ли?..» Я утешал: «Напишешь, коль поешь, какие твои годы... Истинная живопись — музыкальна, поэтична. Без поэзии и музыки живопись — плакат, художественная проза — инструкция от перхоти. А русские песни — сами по себе живописный пейзаж, где судьбы людские сплетены с природой. Вообрази: «Степь да степь кругом, / Путь далёк лежит...» Или вот: «Ревела буря, дождь шумел; / Во мраке молнии блистали; / И беспрерывно гром гремел, / И ветры в дебрях бушевали...» Вот они, живые картины, пиши, ежели вместишь в душу, ежели осилишь...»

* * *

Порой нескладной и неладной была его жизнь ...семейные нелады, тяжкие запои... жизнь внешняя, входящая в разлад с духовной и душевной, но Господь щедро наделил его натуру умиленной и сострадательной любовью к ближнему, редкостным живописным даром, глубинным русским крестьянским духом, песенной и братчиной душой, могучим здравием и мужественной красотой, неистовым и азартным трудолюбием в искусстве, что позволило ему создать, не говоря уж о бесчисленных дивных этюдах, десятки выдающихся живописных картин, которые ныне представлены в музеях и частных коллекциях России, Европы и Азии.

Несмотря на горькие, полынные для русского искусства времена, когда нынешние зримые и незримые правители России загнали все *русское* в колониальные трущобы, писатели и живописцы, не предавшие в душе родину, преодолевая тоску и безразличие, пишут произведения, которые, к великой горести, конечно же, не доходят до народа, захлестнутого бесовским балаганным визгом. Но писатели и художники пишут, хотя бы тем спасаясь от тоски и безразличия, и по-детски веря (*может, ошибаясь!*..), что истинное русское искусство (*не искус и прельщение нечистого, влекущего во тьму*) помогает нашему еще не воцерковленному русичу отыскать дорогу к Храму. А там, в Храме Православном спасенье наших душ пред Судом Божиим.

Живопись Владимира Лапина — тихое, скромное чудотворение, ибо... «*поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога...*».

Сентябрь 2010 г.



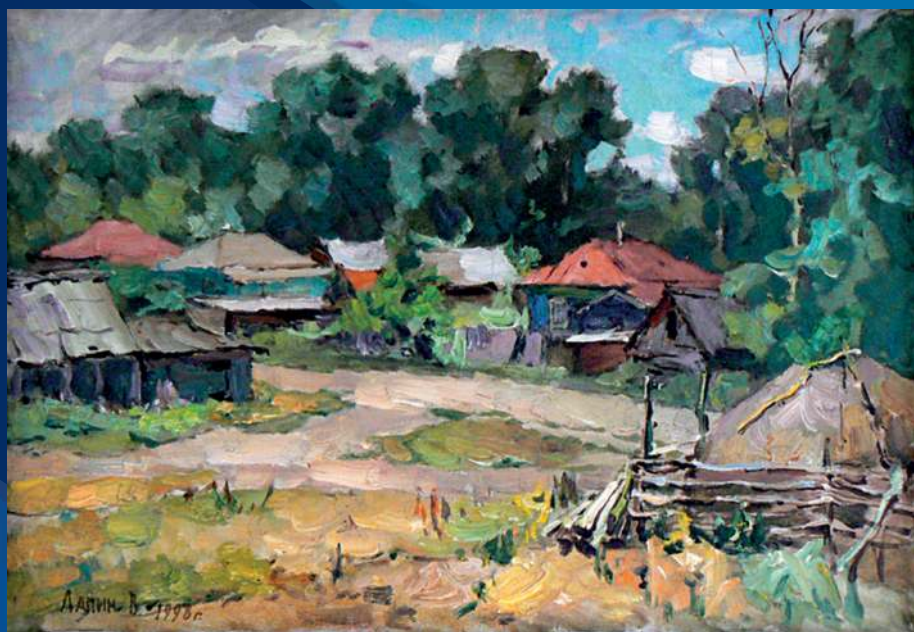
В. Лапин. Портрет писателя. 1997 г.



В. Лапин. Усл. назв. Зимняя ночь. 2002 г.



В. Лалин. Апрель. 1999 г.



В. Лалин. На Заречной улице. 1998 г. Х, м. 50 x 65.



В. Лапин. Усл. назв. Зимняя оттепель. 1995 г.



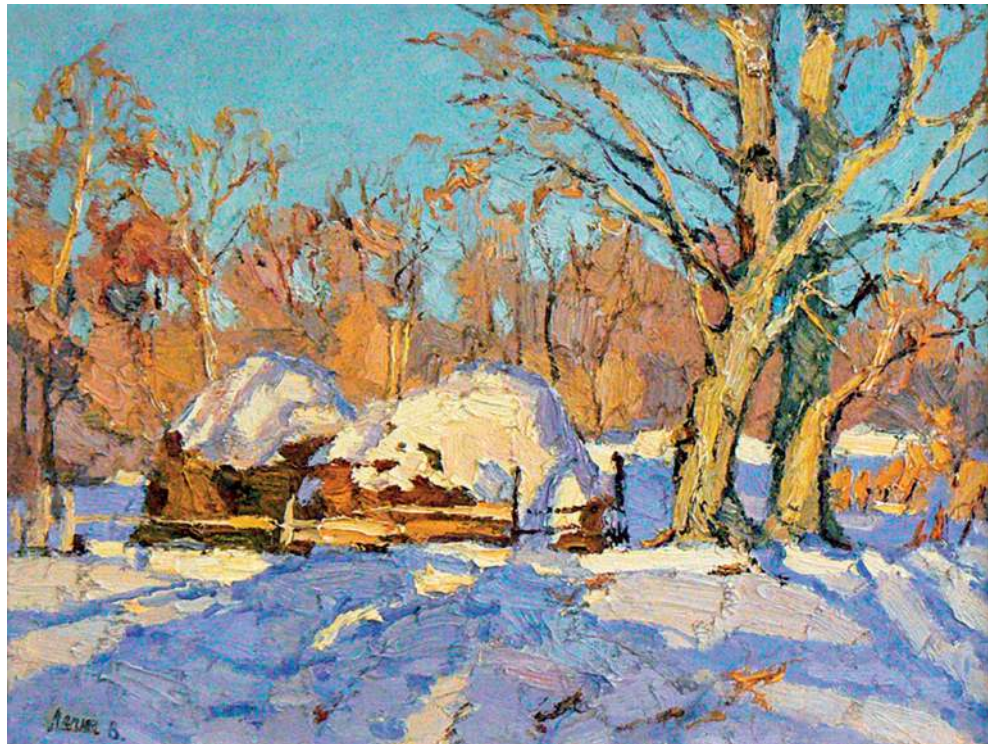
В. Лапин. Усл. назв. Поздний вечер. 1995 г.



В. Лапин. Солнечный день. 1993 г. Х. м. 50 x 40.



В. Лапин.
Усл. назв. Ночь в Култукской усадьбе А. Байбородина. 1997 г.



В. Лапин. Усл. назв. Копны сена



В. Лапин. Зимний вечер. 1995 г. Х. м. 38 x 57



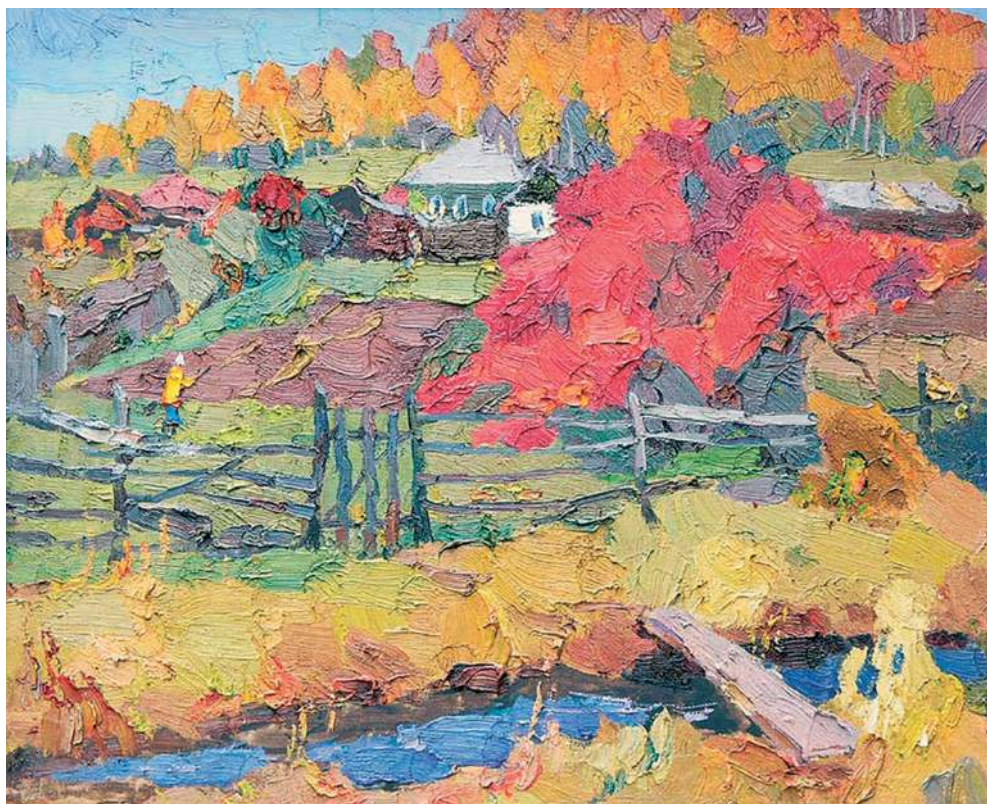
В. Лапин. Усл. назв. Зимнее село



В. Лапин. У стожка. 2006 г. Х. м. 76 x 50



В. Лапин. Пушистый стег. День рождения сына. 2002 г. Х. м. 61 x 80



В. Лапин. Осень. 1999 г.